

Часть I
NIGREDO

*«Если не знаете, как поступить,
поступайте по любви»*
о. Андрей

Глава 1 МОЦАРТ

Не создано ничего красивее человека, а для меня — этого человека. От неспособности выразить вслух опускаются руки, и я выдавливаю просто:

— Такой красивый.

— Ты красивая, — ты легонько касаешься губами моего виска, так осторожно, как будто там что-то можно разрушить неловким прикосновением — в моей-то чугунной голове, из которой, кроме скованного «такой красивый», я ничего не сумела выудить. Глупая, глупая голова, положу тебя ему на плечо, там твое место, наконец ты нашла свое место.

А я себе места на нахожу и все сжимаю твою руку. Только бы ты понял, что это рукопожатие от невысказанности. А ведь как все выскажешь — тебя так много, так много тебя, что я от растерянности немею, а от моего рукопожатия немеют твои пальцы.

Иногда думаю: любопытно было бы поменяться ладонями. Твои — то теплые, то прохладные; когда кладешь их на виски, голова перестает болеть — и сразу же начинает кружиться.

— Камеры наблюдения похожи на воробушков — гляди, как они мостятся под крышей, — говоришь ты, а я бесстрашно улыбаюсь этим камерам, как будто от близости с тобой становлюсь и смелее, и красивее. Точно-точно, смелее. Такое только в детстве и рядом с тобой — никакой осторожности или страха.

— А вот эта, вытянутая, — скорее галка. Или чайка! Но мне больше нравятся твои — пузатенькие воробышки.

— А мне нравишься ты.

— Невероятно, сколько в тебе нежности. А можешь мне ладони к вискам приложить?

— Вот так?

— Да, давай так постоим. Пусть воробьи смотрят.

Тогда Ева впервые подумала, что чудеса происходят с нами по смирении. Впрочем, по порядку.

* * *

Моцарт был лих и пьян.

— Ну смешно же, правда? — восклицал он, и хохотал, и хлопал себя рукой по коленке. Моцарт был знатным шутником, и женщины липли к нему, и Ева липла, потому что баба.

С бутылкой коньяка, недорогого, но и не то чтобы пошла, три звезды, разлит в Симферополе, называется, кажется, «Крым», они сидели у памятника одному из советских вождей. Сам Крым тогда уже аннексировали. Распивать коньяк из кружек, за неимением правильных рюмок, было пошлостью, распивать «Крым» — того хуже. Их было трое, и вообще-то москалем из них был только Картер, Моцарт — австрийцем, Ева — женщиной.

— Крым наш! — Картер схватил бутылку и глотнул из горла, после этого Ева не прикасалась к «Крыму» и пила гранатовый сок, потому что была болезненно брезглива.

Моцарт уже опьянел, он без конца курил, короткими пальцами изящно держал мундштук и рассуждал об Азнавуре. Еве хотелось, чтобы он выжег мерцающей в темноте сигаретой на их в меру изящных шеях что-нибудь — да тот же Крым, например. Она отвела его за памятник вождю, сказала: «Моцарт, жги!», склонила голову набок. Он включил на телефоне Эдит Пиаф и под гортанное «Padam! Padam! Il arrive en courant derrière moi» начал выводить на шее Евы остров Крым.

— Только Картеру не говори, он тоже такой хотел. Спой Эдит Пиаф — когда ты говоришь по-французски, хочется тебе отдаться. Вообще-то мне постоянно отдаться хочется, но когда по-французски — совсем с ума схожу.

— Но я плохо говорю, — смутился Моцарт. — Ну, хочешь, попробую: «Падам! Падам! Ил ариве е кура дерьи муа!» Ой, у

тебя гранатовый сок носом пошел...

Ева приложила к лицу вышитый маками кружевной платок.

— Я лучше по-немецки, мне так привычнее.

«Дойчланд! Дойчланд! Дас ист ихре фюрер!» — закричал Моцарт, схватил бутылку коньяка и забрался на колени к бронзовому вождю. Ева хохотала, Картер кричал внизу: «Хайль, Моцарт! Хайль, Моцарт!»

Моцарт подал Еве руку, и она тоже взобралась на бронзового вождя, они стояли на его плечах, вдвоем, как на баррикадах, только им пока решительно не с кем было бороться. Ева несколько раз оступилась, но Моцарт успел ее подхватить.

— Что ты сейчас пишешь? — спросила она, с удобством развалившись на широком плече вождя народов и крепко сжав в руке пальцы своего.

— «Шутку». Я назову так свой следующий вальс — «Шутка». Он будет очень простой, но тебе понравится.

Еве всегда нравились вальсы Моцарта, но еще больше — когда он гладил ее по голове и говорил: «Будь моей музой, Ева». А она утыкалась носом ему в шею и бормотала что-то вроде:

— Ave, мой Моцарт!

Картер купался в фонтане перед памятником. Нарочито беззаботно плескался в воде, чтобы никто не видел, как он плачет.

— А хочешь я напою тебе «Шутку»? Будет очень весело — смотри на фонтан.

И Моцарт запел. Его «Шутка» была такой чудесной, что смеялась не только Ева, но и Картер — он-то и вовсе так хохотал, что был не в состоянии доплыть до бортика или встать на ноги.

— Моцарт, стой, он ведь утонет! — Ева схватила его за руку, и Моцарт прекратил петь. — Ты, кажется, жестокий, — испугалась Ева, но он пообещал, что с ней такого никогда не случится, что он всегда, что она для него, и что бы ни было — он ее все равно.

Им было спокойно на этих импровизированных баррикадах, а внизу Картер переживал свой самый серьезный личностный кризис. Картер кричал «По-мо-ги-те!» — а всем слышалось «На-до-е-ло!» — и бросался на скульптуру вождя. Азгур создал ее, когда ему едва исполнилось двадцать три; Картер тоже был

скульптором, ему было уже почти тридцать, а он так ничего и не создал, даже дерева не посадил. Картер заплакал и хотел уткнуться лицом в колени Моцарта, как всегда делал, но Моцарта не было рядом — он как раз гладил по голове Еву, и потому Картер снова и снова бросался на бронзовый памятник.

Моцарт продолжал курить и не заметил даже, как скурил все губы — дотла. А когда заметил, ему стало так больно, что он потерял слух, и поэтому не слышал, как плакал Картер — то у него на плече, то уткнувшись в колени бронзовому вождю.

Глава 2 ПРИЗЫВ

Все разошлись, а Ева и Моцарт все еще сидят на памятнике, пускают солнечных зайчиков и хохочут.

А потом началась война.

— Дойчланд! Дойчланд! Дас ист ихре фюрер! — раздается из динамиков, и Моцарт резко оборачивается на звук, круглый подбородок вдруг становится острым, а глаза сужаются.

— Это меня зовут, — заявляет он и по-детски скатывается с бронзового плеча — как с горки — вниз.

— Ты дурак? — кричит ему вслед Ева, не в силах перестать хохотать — за минуту до объявления войны Моцарт придумал несколько новых тактов «Шутки». — Куда тебе на войну? Ты музыкант, у тебя пальцы тонкие, и губы — тоже. Тебе нужно ходить в лавровом венке и петь баллады, давай лучше сошьем тебе венок, и все образуются.

Но Моцарт бежит на голос — он всегда легко увлекался, вот и теперь.

— Это же приключение, Ева, — и подбрасывает в воздух тетрадь с нотами. — Приключение, а что еще нужно? Fide et honorem super omnia, так я себя и зарекомендую.

Ева догоняет Моцарта уже у его дома. Он распахивает дверь с такой силой, что она чуть не слетает с петель, хоть обычно его движения по-кошачьи текучие и мягкие. Его вещи уже упакованы в коробки, как будто он заранее знал, что объявят войну, и подготовился к отъезду, а Еве рассказал обо всем только сейчас, чтобы не плакала заранее, а начала, только когда без слез уже не обойтись.

Он бросается к шкафу, сбрасывает все на пол — бежать, бежать. Собирает в рюкзак только необходимое — топор с деревянной ручкой и Маузер-98, фигурки драконов и ноты. А это что? Поднимает с пола маленькую аккуратную коробочку, перевязанную льняной лентой, тянет за ленту, копошится в конфетти, лепестках каких-то цветов и извлекает из коробочки мизинец. А это — от Картера, он теперь будет подбрасывать себя

кусками везде: в комнату, в походный рюкзак, в стакан с зубной щеткой — куда бы то ни было. А, ну понятно.

— А если я не дождусь и случайно умру? — спрашивает Ева и трет глаза руками, как маленькая. Но Моцарт обнимает ее и говорит: «Все будет хорошо — вот увидишь».

Моцарт не знает еще, за кого будет воевать, но он обязательно должен ввязаться в битву, потому что это единственный путь к бессмертию. Моцарт хочет, чтобы правительство его заметило и предложило высокую должность, потому что он бесконечно талантлив, а прозябает с кружкой коньяка у подножия советских памятников.

Он желает, подобно немецкому поэту, переехать ко двору какого-нибудь герцога-мецената, поклонника его творчества, вознамерившегося лично познакомиться с автором концертов для фортепиано, хоть к тому моменту Мо не написал ни одного и, как уверяли его преподаватели, плохо справлялся с арпеджио.

Из каждого угла на них смотрят горгульи — водостоки-горгульи выходили не наружу, а внутрь комнаты Моцарта, и в дождь ее всегда заливало до середины, зато, когда кто-нибудь в комнате начинал рыдать и просить: «Пожалуйста, не уезжай», горгульи выпивали всю влагу, и комната вмиг становилась сухой и снова уютной. Моцарт утверждал, что горгулий он выловил в Сене во время одной из своих поездок в Париж. Может, лгал, может, нет. Моцарт любил красивую позу и эффектные интерьеры, а теперь вот собирал простой походный рюкзак, готовясь к аскетичной жизни.

Ева крутит в руках маленького плюшевого дракончика и молчит, только горгульи длинными мясистыми языками вылизывают мокрый пол комнаты. Ей хочется кричать на него, но ему такое не нравится.

— Знаешь, как сильно я тебя люблю?

— Бесконечно?

— Сильно!

За окном уже взрываются дома — дом Евы взлетает на воздух первым. Моцарт тут же вызывается помочь:

— Поживешь пока у меня. Тем более кто-то должен будет кормить мою собаку — огромного пятнистого дога — он как корова, только собака, а еще он вечно голодный. Забудешь накормить собаку — значит, и меня скоро забудешь, и тогда он набросится на тебя и укусит за ногу, а зубы у него ядовитые — даже капля этого яда влияет на мозг так, что возвращаются самые важные воспоминания. И вот он укусит — и ты вспомнишь, как мы сидели на памятнике и пили «Крым».

Ева очень боится и горгулий, и дога, но соглашается.

— Я поставлю здесь свой нулевой километр, — она садится на пол и отдирает кусок паркетной доски. Отсюда теперь будут начинаться все мои дороги.

Под паркетную доску она кладет несколько игрушек Моцарта, прикрывает их сверху свитером Моцарта, поливает водой из чашки Моцарта и отходит в сторону. Паркет в этом месте начинает светиться холодным недобрым светом. Скоро из-под него должны вырасти указатели, и если Ева не будет знать, куда ей пойти, она сможет спросить совета. Прежде она спрашивала совета у Моцарта, теперь понадобится другой советчик.

Они выходят на улицу — по городу носятся военные машины, разжевывают дома в пыль, но почти никто, кроме Евы и Моцарта, не обращает на них внимания. Дамы с зонтиками степенно прогуливаются по тротуарам, делая вид, что никакой войны нет. У одной из них взрывной волной вырывает зонтик. Мужчины тоже справляются с волнением довольно легко, поправляют галстуки-бабочки, смотрясь в витрины магазинов. Некоторые все же влезают на боевые машины и на танки. Моцарту хочется оседлать коня — так романтичнее.

— Буду писать тебе каждый день, пока не умру, — и стучит пальцами по ямочке на шее — это значит «честно-честно». Если вот так стучать по впадинке между горлом и ключицей, то звук выйдет такой, как будто стучишь по мембране стетофонендоскопа — это такой прибор, которым врачи выслушивают колебания сердца.

Он сворачивает за угол — идет воевать, разрабатывать планы наступлений, устраивать облавы и котлы — ах, как весело!

Ева сразу же падает в кровать. Спать — не больно. А когда она просыпается, собака уже грызет ее ногу.

Глава 3 БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ

Змей обвился вокруг трона. Он не убивал девушек, вонзая им в шею острые зубы, не покушался на героев — просто душил Рейх кольцами своего бесконечно вытянутого в пространстве тела.

Змей был бессмертен, но не мог слезть с трона, потому что трон синхронизировал его со страной, или, как принято было говорить, с народом: трон склотили так, чтобы Змей, обвинив его своим упругим телом, мог слышать, что у народа болит и о чем он тревожится.

Моцарта привели к нему двое туманных всадников. Они были последней разработкой Министерства обороны. Молча переходили черту и завоевывали земли, потому что те, на чьи земли покушались всадники, не могли их видеть, а поэтому не могли им сопротивляться. Зато всадники видели все, незамеченными врвались в дома.

Агенты оборотней все же видели их и кричали тогда: «Я все вижу!»; таких, говорят, ловили и скармливали Змею. А Змей хотел больше земель, его существование напрямую зависело от их количества. Так говорили.

Однажды владения Змея сильно уменьшились, а трон его стал похож на маленькую деревянную табуретку. Ему было холодно. Чешуя сыпалась со Змея, как шерсть с собаки, и с тихим звоном падала на пол. Змей умирал. Люди не видели его на экранах — а прежде он любил выступать перед публикой — и начали поговаривать, что правителю осталось недолго.

— Вы слышали, бессмертный Змей умирает! — шептали люди и несли к дверям его замка угощения. Некоторые плакали, рвались во дворец, готовые согреть Змея своими телами, но он и без того получал их тепло через трон — просто ему нужно было больше, намного больше тел.

С каждым новым злорадствующим сообщением зарубежной прессы тело его сотрясали конвульсии, он бесновался и сжирал кусок Маленькой империи, расположенной по соседству, — он всегда ел, когда нервничал. Тогда и появилась Партия Оборотней, которая решила бороться со Змеем; тогда он и воспрянул.

Уходя на войну, Моцарт еще не знал, на чьей стороне будет воевать, ему просто нужно было бессмертие, и он выбрал Маленькую империю, на которую Змей давно положил глаз, но никак не мог сожрать и половины.

Моцарт был хорошим воином — всякий раз, когда он видел, что Всадник скачет через Дунай и приближается к Днепру, он начинал напевать свой последний вальс. Хотя тот до сих пор не был дописан и до середины, даже нескольких тактов «Шутки» хватало, чтобы всадники со смеху падали с коней и расшибали головы.

Моцарту не очень хотелось убивать всадников, хотя пару раз он почувствовал необъяснимый прилив сил, расправившись в одиночку с целым отрядом. На правой ладони Моцарта темнела родинка — примерно на холме Марса. После каждого удачного сражения он прикладывал руку со сведенными пальцами сначала к левому плечу, а потом с криком — «За Маленькую империю!» — выбрасывал ее прямо к солнцу и любовался, глядя, как оно освещает ладонь и пятнышко родинки на ней. «Родинка — это такая маленькая родина», — думал Моцарт и с гордостью осознавал себя носителем великого отечества.

Моцарту казалось, что он талантлив и отважен в достаточной мере, чтобы возглавить освободительное движение, чтобы направлять солдат и разрабатывать планы наступлений, устраивать противнику котлы и облавы. Но народ Маленькой империи не замечал ни талантов Моцарта, ни его очаровательной родинки на ладони.

Когда народ особенно страдал, Моцарт пытался развеселить его «Шуткой», но голос у него был тихим, и прислушиваться к Моцарту никто не хотел. И Мо порой часами простаивал на улице, рискуя попасть под обстрел или в облаву, тихо-тихо напевал, почти бормотал, свою «Шутку» и прекращал, только когда кто-нибудь бросал ему монетку. Тогда он негодовал, поскольку пел свой вальс не ради подаяния, но все воспринимали его как попрошайку. Моцарт остро чувствовал свою невостребованность.

А потом его поймали и привели к Змею.

Моцарт увлеченно разглядывал колонны, подпиравшие своды зала, и лепнину на стенах и потолке. Он мог безошибочно

определить, что колонны привезли сюда из Рима, а лепнину соскоблили в одном из залов Версаля.

Огромная блестящая туша Змея не вписывалась в эту и без того чересчур эклектичную архитектурную композицию, но Моцарт усилием воли заставил себя не морщиться.

Туша задрожала — проснулась:

— Здравствуй, мальчик, — вопреки ожиданиям, Змей не шипел, а говорил фальцетом. Тембр был настолько неуместен, что Моцарт даже не испугался, на что Змей втайне рассчитывал. Он спросил:

— И зачем ты ввязался в войну? Ты ведь совсем юн!

— Я хочу бессмертия, — прямо сказал мальчик, стараясь, чтобы голос звучал поувереннее, а сам рассматривал Змея.

Туша содрогнулась от смеха. Змей перевернулся на спину и выставил свой желтый живот.

— Что ж, ты храбро сражался с моими рыцарями и заслужил немного вечности, — признал Змей, успокоившись.

Один из туманных всадников поднес Моцарту массивный кубок на серебряном подносе. Рядом с кубком стояло два пузырька — Змей сказал, что один с бессмертием, другой — с ядом. Туманный всадник взял один из пузырьков и вылил в кубок.

— Пей, — велел Змей.

Моцарт выпил и не почувствовал вкуса смерти на своих губах. Тогда он схватил второй пузырек и залпом опустошил и его. Смерть все не наступала. Змей удовлетворенно улыбнулся — теперь ты бессмертен, мальчик.

Моцарт удивился — бессмертие далось ему слишком просто, и это немного разочаровывало. Он хотел подвигов и приключений, а бессмертие должно было стать лишь приятным бонусом, но обошлось без подвигов. Моцарт так расстроился, что развлечения ради потребовал еще один пузырек с ядом — ему принесли несколько, он опустошил и их.

— Еще! — требовал Моцарт. — Больше яда, дайте мне больше яда!

И всадники несли ему яд, и он выпивал все, что находилось во дворце Змея, — теперь это было его главным развлечением на ближайшую вечность. А что не мог выпить, Моцарт складывал в

рюкзак, пока тот доверху не наполнился стеклянными емкостями с содержимым, смертельным для человека и совершенно безопасным для него.

— Теперь, получив то, что хотел, ты должен помочь мне, — фальцетом продолжил Змей, поудобнее устраиваясь на троне. Он вздремнул, был спросонок и выглядел старше, чем прежде, — опухшее после сна веко нависало над желтым глазом, а вся морда была одутловатой и неприятной. Хвост немного подрагивал — Моцарту казалось, что правитель волнуется, хоть причины были непонятны. — Подойди, поговори со мной, мальчик.

Моцарт приблизился к Змею — ему совсем не было страшно. Разве что немного неловко оттого, что он собирался получить бессмертие, воюя за Маленькую империю, а стал бессмертным при дворе Змея — не сплевывать же теперь бессмертие на пол? Тем более противники Змея — Партия Обратной, возглавляющая Маленькую империю, — Моцарту тоже не нравились, так что он легко простил себе это крохотное предательство.

— У народа должен быть царь, — с легким свистом на слове «царь» проговорил Змей, получился «t-sar», на английский манер.

Моцарт кивнул, он в детстве считал себя монархистом и мечтал однажды умереть за царя, но повода прежде не представлялось. А теперь, так легко получив бессмертие, он уже никогда не сможет этого сделать. Моцарт загрустил оттого, что никак не мог решить, что для него важнее: обретенная вечность или уже недостижимая красивая смерть.

— Ты и сам мог бы стать царем, Моцарт, — заговорщицки проговорил Змей, — вот только у меня нет для тебя подходящей короны. Впрочем, ты мог бы осмотреть мою сокровищницу и выбрать то, что будет тебе по душе. Жаль, спуститься с трона и пойти с тобой я не могу. Выбери то, что приглянется, — шипел Змей, соблазняя Моцарта сокровищами, как девку на ярмарке.

«Гляди лишь скуки на меня не наведи», — подумал Моцарт. А вслух спросил:

— И как я узнаю, куда мне идти?

— Впусти меня в свою голову, — мягко попросил Змей. — Я буду направлять тебя.

Моцарт покачал головой — сам справлюсь — и вышел из тронного зала. Змей недовольно сверкнул глазами. Туманные всадники подхватили трон и понесли Змея следом за Моцартом.

По пути к сокровищнице им не встретился ни один человек — только полчища туманных всадников.

— Почему здесь нет людей? — спросил Моцарт.

— Я всех съел, — пошутил Змей.

Сокровищница была огромной. Все, что правителю не удавалось проглотить, он отправлял сюда — насытившись, Змей превращался в Дракона-стяжателя. Под ногами звенели монетки, и Моцарт поднял одну из них. На аверсе золотой монеты красовался Эйзенхауэр. Моцарт удивился: а их ты тоже проглотил? Змей кивнул. Ему было неприятно вспоминать этот инцидент: изжога до сих пор давала о себе знать. Змей икнул.

Моцарт отбросил монеты и подошел к постаменту в центре. На постаменте лежал широкий медный обруч, украшенный драгоценными камнями разного размера. Вот только одного не хватало, и обруч смотрел на Моцарта пустой глазницей.

Моцарт хорошо знал, что это.

— Откуда у тебя *эта* корона?

— Хочешь? — спросил Змей вместо ответа.

По преданию гвоздь от креста Спасителя, подаренный папой Григорием Великим лангобардской принцессе Теоделинде, был вставлен по ее приказу в золотую корону для ее супруга Агилульфа. С той поры корона венчала царственные головы не только лангобардских королей, ею короновалась большая часть германских императоров, от Карла Великого до Карла V.

— Но она... медная. Корона лангобардов медной быть не может. Это какая-то подделка, — вдруг заметил Моцарт.

Змей поморщился — его раскусили, — но быстро нашелся.

— Сломали. Корона была золотой, и венчал ее философский камень. Но однажды камень исчез, и корона потускнела. С каждым днем ее сияние становилось все менее ярким, пока хранители не обнаружили однажды, что она оказалась медной, — Змей прищурился, как бы вспоминая. — С тех пор ни один человек, достойный быть царем Рейха, не может его возглавить —

не короновать же правителя медью. Я давно ушел бы на покой, если бы нашел того, кто сможет меня заменить, того, кто согласится носить корону лангобардов.

Моцарт продолжал делать вид, что не понимает, о чем говорит Змей.

— Я одинок, мальчик, — прошипел Змей. — Ради меня никто не станет искать философский камень. Но если кто-то смог бы сделать это для тебя...

У Моцарта как раз левая рука кровоточила.

— Кто это? — с деланным равнодушием спросил Змей.

— Это Ева пишет. Я не могу надолго задерживаться здесь, я обещал ей вернуться. Или, может, мы могли бы позвать Еву сюда?

— Ей нельзя сюда, мальчик. Всякий, кто живет во дворце, бессмертен. Пусть тоже обретет бессмертие — и тогда приходит.

Змей говорил мягко, почти ласково.

— Но как же, — спросил Моцарт, — ей получить бессмертие? Может быть, у тебя, Змей, есть лишний пузырек?

Но Змей ответил:

— Нет, у меня закончилось, ты последнее выпил. Пусть Ева найдет философский камень и принесет его сюда. А после уже ты решишь, чего хочешь больше: чтобы Ева жила при дворце с тобой вечно или чтобы корона лангобардов на твоей голове вновь стала золотой, а не медной.

Глава 4 К ВАМ СЕГОДНЯ КТО-НИБУДЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ?

Впервые за несколько месяцев Ева вышла в город. Дог выбежал следом.

Она ожидала увидеть разрушенные здания и горящие машины, но город жил прежней жизнью, и от этого мир вокруг казался Еве бесконечно негармоничным. В ней-то что-то кровоточило, она была инвалидом тихой войны, но город этого как будто не замечал. Несколько зданий, которые были разрушены в начале, успели отстроить, но в сторону своего дома Ева даже не смотрела — она не хотела возвращаться, ее единственным домом теперь была маленькая комната Моцарта.

— Детка, возьми денежку, — старушка на углу протянула ей купюры. В последнее время таких старушек на улицах становилось все больше — они постоянно предлагали прохожим деньги, самые жалостливые брали.

В кафе с белыми стенами сидели парочки. На дверях белели листовки «Обернись» — это Партия Обратной призывала на свою сторону. Странники Змея обходились без агиток. Ева зашла внутрь одной из кофеен, и дог послушно вбежал следом.

На белой стене висел огромный экран. С экрана мужчина с трупными пятнами на лице и провалившимися глазницами что-то нараспев читал — это был Гомер, он держался в эфире несколько сезонов подряд и был сказочно популярен. Никому прежде не удавалось добиться ничего подобного. Большинство ведущих уже после первого сезона по Закону о забвении звезд отправлялись на переработку. Их глаза заливали смолой, чтобы в получившемся янтаре они сохраняли остатки славы — вечно. Всем казалось, что забытая звезда — это печальнее, чем звезда в янтаре, и смолу с глазами звезд продавали вначале в супермаркетах, а после — на блошиных рынках. Так говорили легенды.

Гомер на экране пел что-то про корабли — пересчитывал как бы. Ева присела за столик в углу и заказала кофе.

— У вас есть лезвие? — попросила она официанта. — Мне нужно отправить письмо.

Официант услужливо улыбнулся и вернулся с аккуратной металлической коробочкой на подносе.

Теперь писать больно. Было время, когда письма обесценились, их стало слишком много — объявления, акции, разномастные сообщения, — и следом за Законом о забвении звезд государство приняло Закон о письменности. Теперь, чтобы отправить письмо, нужно было лезвием нацарапать у себя на руке конверт. Такой же конверт появлялся на руке адресата. Не заметить такое письмо было сложно: чем глубже царапина на твоей руке, тем больнее получателю. Писать без повода считалось теперь дурным тоном — каждое новое входящее причиняло собеседнику ощутимую боль.

— Моцарт, милый, ответь мне, — просила Ева и все сильнее царапала руку. Когда конверт на руке закровоточил, Ева лизнула руку, пробуя письмо на вкус, и спрятала лезвие в карман.

Она просидела в белых стенах кофейни еще немного, ожидая возвращения официанта. На ее руке появлялись все новые конверты, самые глубокие порезы — это были письма от Картера. Моцарт — не писал.

«Я тебя все равно», — написала Ева.

Она чувствовала себя неуместной. Стаканы с белыми салфетками на столике у кассового аппарата, заготовленные для других гостей — вот те имели все основания здесь находиться, а какие основания у нее?

Когда-то это было ее любимое заведение, потом что-то поменялось.

Наверное, все началось с того, что у входа официант спросил:

— К вам сегодня кто-нибудь присоединится?

Зачем они задают эти вопросы?

Маленькая Ева: А к нам сегодня кто-нибудь присоединится?

— О нет, началось, — простонала Ева, зная, что следом за ним зазвучат и другие голоса.

Элизабет, администратор зала: Поговорим об этом позже. Нужно сделать заказ.

Маленькая Ева: Я буду творожный торт.

Эмма: А я бы выпила.

Императрица: Если кто-нибудь закажет вина, я подсяду за соседний столик, и — неважно, о чем они говорят, — сумею поддержать беседу.

— Вы определились с заказом? — официант вернулся, готовый записывать.

— Американо с ежевичным сиропом и творожный торт, пожалуйста.

Маленькая Ева: Со свежими ягодами!

— А к тарту можно добавить свежих ягод?

Элизабет, администратор зала: Добавить к тарту свежих ягод? Не позорься! Почему мелкая контролирует твой речевой аппарат?

— К сожалению, творожный торт подается без ягод, зато с листиком мяты и брусничным сиропом.

— Извините, — улыбнулась Ева.

Юрий: Да закажи хоть раз нормальной еды! Никто здесь не хочет творожный торт!

Императрица (*хихикает*): Мужчина голоден!

Элизабет, администратор зала: А посмотри, как расслабленно держатся остальные. Никакой напряженности. Может, это потому, что им уже принесли заказ, а наш столик все еще пустой? Как думаешь, когда принесут кофе, это чувство неловкости пройдет? А впрочем, ты замечала, что, когда ты в дурном настроении, все, кто рядом с тобой, тоже начинают чувствовать свою неуместность? Как думаешь, вдруг это распространяется не только на людей, которые рядом с тобой, но и на предметы: принесут кофе, а чашка покажется сама себе такой неуместной, что лучше бы сразу унесли!

Императрица: Я бы все же подсела за соседний столик.

Из-за соседнего столика поднялся и пошел, прихрамывая, в сторону уборной очень веселый молодой человек.

— Это все портвейн! — жизнерадостно оповестил он своих собеседников. Те засмеялись.

Императрица: Он двигается так, как будто у него ДЦП, и вопит про портвейн. Два пустых бокала на столике. Очень смешно. Мы не будем подсаживаться к ним. Кругом дегенераты. Вина!

Элизабет, администратор зала: Мы не будем подсаживаться ни за какой столик, и да — никакого вина!

— Ваш американо с ежевичным сиропом и творожный торт, — дружелюбно перечислил официант, переставляя заказ с подноса на столик.

Маленькая Ева: Такой милый.

Элизабет, администратор зала: С чего ты взяла, что он милый? Вдруг это социальная маска, чтобы нас запутать? А там, на кухне, он хихикает над тобой? А зачем еще закрывать дверь на кухню? Чтобы хихикать над гостями! Не над всеми, конечно, а над такими, как мы.

Эмма: Хочешь поговорить об этом?

Юрий: Да просто начни уже есть! Проглоти этот торт, наконец!

Элизабет, администратор зала: Портвейновый мальчик идет обратно. О нет, у него и в самом деле ДЦП.

Маленькая Ева: Мы облажались. Теперь я не хочу есть.

Эмма: Ешь, нужно кушать.

Маленькая Ева: Нормальные люди не едят, когда им грустно. Ты хочешь сказать, что мне недостаточно грустно, раз я ем?

Элизабет, администратор зала: Пожалуйста, доедай, и пойдем отсюда. Мы не можем уйти, пока ты не доешь. Иначе что подумает официант?

Маленькая Ева: Что я не голодна?

— Извините, можно, пожалуйста, счет? — попросила Ева.

— Да, конечно.

Элизабет, администратор зала: А если он спросит, почему ты не все съела?

Маленькая Ева: Я буду молчать и ничего не скажу!

Элизабет, администратор зала: Он подумает, что ты ненормальная.

Маленькая Ева: Может, оставить деньги и сбежать через черный ход?

Ева оглянулась в поисках запасного выхода, но ближайшая дверь вела на кухню.

Эмма: Ты всерьез? Пожалуйста, возьми себя в руки. Он ничего не спросит. Не доела — и ладно.

Элизабет, администратор зала: Но если спросит?

— Наличными или картой?

— Картой.

Маленькая Ева: Может, уже не спросит?

Элизабет, администратор зала: Спросит.

Эмма: Не нагнетай.

— Вам все понравилось?

Маленькая Ева: Я чувствую, как теряю контроль над речевым аппаратом. Кто-нибудь, скажите ему, что торт очень вкусный.

Элизабет, администратор зала: Чур не я.

Эмма: Я попробую.

Еву бросило в пот. Наверное, все посетители сейчас на нее смотрят и ждут этого торжественного «спасибо», как сольной арии.

Хорошо быть официантом. Официант здесь всегда к месту. У него не спросят: эй, к вам сегодня кто-нибудь присоединится? У него есть легальный повод сюда прийти.

Маленькая Ева: В следующий раз придумаем повод. Можно, например, прийти с дорожной сумкой, как будто я туристка и заглянула случайно, как будто нет никакого подтекста.

Элизабет, администратор зала: Просто поблагодари официанта, и уходим отсюда!

Эмма: Ну же!

Юрий: Говори, не то убью!

— Спасибо, — выдавила Ева и после этого триумфального выступления вылетела на улицу.

Глава 5

НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ

Уже в день отъезда Моцарта Картер отослал ему два пальца — фаланга за фалангой. Через несколько дней Ева увидела у него шрам на боку — судя по всему, он лишился печени. У Евы же заметных шрамов не было.

Картер стал скульптором, чтобы лепить обнаженных девиц и водить руками по их еще мягким глиняным телам. Когда глина застывала, Картер начинал планомерно уничтожать собственное произведение.

«Зачем ты так с ней?» — спрашивала его Ева, которая порой подолгу просиживала в мастерской Картера. «Потому что она очерствела. Я создал ее для вечной любви, а она предала меня, а если женщина предала, она должна умереть», — говорил Картер и молотил глиняной головой об пол.

Но когда Моцарт уехал на войну, Картер перестал лепить женщин. Теперь он по памяти пытался изваять статую Моцарта. В его мастерской пел Азнавур, а сам Картер пытался заставить глину принять очертания его друга. Он мял глиняный кусок, чтобы увидеть в нем черты Моцарта — его тонкие губы, легкую щетину и ямочку на подбородке, но как ни старался, все равно получался один известный революционер.

Революционер улыбался в пышные усы и просил не забыть вылепить ему ноги — тогда-то он заберется на коня, которого Картер прежде создал для одной из своих обнаженных глиняных женщин, и поскачет из мастерской в город. Картер не давал глиняному человечку высохнуть, мял его, топтал, вновь и вновь силясь превратить огромный глиняный ком в Моцарта.

«По-мо-ги-те!» — закричал Картер, когда в очередной раз вместо Моцарта на него, мягко улыбаясь, посмотрел один известный революционер, но прохожие снова услышали «О-той-ди-те!», зашипели осуждающе и пригрозили Картеру пожаловаться на него «куда следует» — и тогда у него отнимут мастерскую.

— Не злись, — сказал ему бюст революционера, подсвеченный разноцветными фонарями: зеленым, оранжевым, синим.

Картер бросил в бюст кусок мокрой глины, но не попал — бюст ушел от удара, как боксер, натасканный на защиту: уклоны и нырки. Картер точно знал, что перед ним тот самый революционер — его нос, его скулы; и сколько бы он ни мял руками глину, ни выдавливал в ней тяжелые веки Мо, революционер не исчезал. Все говорило о том, что Картер забывает Моцарта, а может быть, никогда и не знал его по-настоящему, раз не может представить себе его затылок, лоб, линию носа... Нечего и надеяться, что кусок глины превратится однажды в Мо.

— Ты не можешь представить то, чего никогда не видел, потому что разум человека ограничен воспоминаниями, его, если хочешь, эмпирическим опытом, а без этой основы не способен создавать, — революционер тщательно подбирал слова.

Чтобы доказать скульптуре, как близки они были с Моцартом, Картер достал из ящика рабочего стола слепок руки Моцарта и нотную тетрадь — в ней Мо порой записывал мелодии, которые приходили в его голову, пока он просиживал на табурете в мастерской друга. Но бюст уже окаменел и не слушал его. Тогда Картер взял новый кусок глины и принялся мять его, пытаясь заставить материал принять форму подбородка Моцарта.

Бюст снова зашевелился, прыгнул с пьедестала и, покачиваясь, поковылял к Картеру. Скульптор взобрался на табуретку с ногами, боясь коснуться подсыхающей уже глины.

— Ты можешь стать лишь великим компилятором, но не Создателем, — бюст почти касался глиняными, еще немного мокрыми, усами лица Картера.

* * *

Шли дни. Картер намеревался дать бой унынию и искал для этого людное место. Ева же была уверена, что тоску по кому-то можно вытеснить только сравнимо сильной зависимостью. Они нашли компромисс в зале «Арбуза», культовом заведении города. Считалось, что бы в «Арбузе» ни кричали со сцены, все было оправдано, все несло в себе определенный культурный код. Уж если здесь не станет веселее и осмысленнее, то где тогда?